

ЗАПАДНЫЕ ЛЕВЫЕ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Социализм – теория, созданная западноевропейскими интеллектуалами, результат их воспитания – традиционного изучения древнего мира, христианства, реформации, современной философии, естественных наук, опыта революций и т.д. В то же время теории социализма и коммунизма в определенной степени и результат их высокомерия. Западные интеллектуалы не сомневались в превосходстве Запада над окружающим миром, что подкреплялось техническим превосходством и культурным развитием этого региона. Так что, формулируя абстрактные понятия социалистической и коммунистической теорий, авторы их вообще не принимали во внимание опыт, накопленный вне Европы. Они считали само собой разумеющимся, что Западная Европа – образец развития всемирной цивилизации, и что проникновение этой цивилизации в самые отдаленные уголки самых варварских стран – вопрос лишь времени. Позже сторонники социалистических доктрин, пытаясь докопаться до их корней, вынуждены были проследить линию развития западного мышления.

Маркс – типичный представитель западных интеллектуалов. Не знаю, как преподают, скажем, в Северной Корее курс о трех основных источниках марксизма, но думаю, что дальневосточному слушателю должно быть очевидно постоянное склонение одних и тех же западноевропейских имен.

Социалистические движения, надеясь на победу, связывали мысль о ней исключительно с Западной Европой. Их взгляд был обращен к Франции – стране революции и беспокойного духа; к Англии – пионеру промышленной революции; к Германии – колыбели организованного рабочего движения; к Голландии, к Бельгии. О России никто всерьез и не думал. Технически отсталая, с крепостным правом, с миллионами неграмотных мусиков, малочисленной интеллигенцией и самодержцем во главе, Россия не укладывалась в представления теоретиков социализма о возможном авангарде нового общественного порядка.

Позже советские идеологи начали старательно выискивать в сочинениях Маркса и Энгельса пророчества о русской революции, хотя Маркс и Энгельс о возможной роли этого мрачного колосса царской империи в перестройке мира и не задумывались. Более того, Маркса раздражал фанатизм и непредсказуемость в поведении русских эмигрантов, их нетерпимость и коварство; то влияние, которое оказывала на них мистическая сила родины. Читая письма Маркса, я обратил внимание на то, как он писал о Бакунине. Я подумал, что в этом оказывается доктринерство Маркса, его приверженность к чистоте коммунистического учения. Но когда я прочитал посланную Бакуниным из Петропавловской крепости "Исповедь", которую Маркс знать не мог, я был потрясен. Пропасть, в которую скатился этот напуганный до смерти революционер, опаленный огнями почти всех европейских восстаний, оказалась бездонной. В "Исповеди" сконцентрировалось все необходимое для прояснения русской революции во всем ее многообразии. Бакунин как бы дополнял Достоевского, и после знакомства с "Исповедью" свидетельские показания Бухарина, Рыкова, Радека и других подсудимых на московских процессах уже не казались мне столь абсурдными.

Когда в России появились первые рабочие кружки по несколько десятков человек, в Западной Европе уже происходили первомайские демонстрации рабочих, были модны широкополые "социалистические" шляпы, а депутаты от социалистических партий обладали парламентским иммунитетом. Будущее социализма казалось определенным: в скором времени социал-демократические партии завоюют большинство в законодательных органах европейских стран, и путь к социализму будет открыт. В своих последних письмах вождям социал-демократии Германии Энгельс с удовлетворением писал о расцвете рабочего движения, об его успехах на выборах – и ни слова о революции.

* * *

Но на деле все было не так просто. И это "не так просто", над которым поколение за поколением ломали головы, трансформировало западноевропейскую теорию, которая в странах своего происхождения свободно обсуждалась в печати и парламентах, в идеологический гейзер, брызгущий уже более шести-

десяти лет и окропивший Европу и мир. Не западноевропейские социалисты, ощущавшие все нюансы социалистической и коммунистической доктрины, сформулированной, кстати, на их родных языках, а русские большевики на практике осуществили пусть и "разумное, но все же патетическое и непрактическое учение". И осуществили это со смелостью и уверенностью, характерной для дилетантов. Тем самым учение, носившее характер лабораторной гипотезы, стало судьбой огромного народа, населяющего шестую часть территории земного шара.

Эта неожиданная поправка к теории требовала объяснения. Часть теоретиков II Интернационала отнеслись к русской революции как к абсурдной аномалии; другие считали русскую революцию опухолью на теле общества, которая вскоре рассосется. Даже сторонники русской революции ощущали необходимость объяснить этот феномен. Ленин был подготовлен к решению этого вопроса — он писал о теории неравномерного развития капитализма, которую дополнил положением о самом слабом звене. Оковы капитализма, писал он, рвутся в самом слабом звене, а Россия и была таким звеном в цепи капиталистических стран, в этом никто и не сомневался. Объяснение Ленина было удачным, и впоследствии оно неоднократно использовалось.

По крайней мере, до сих пор иного объяснения нет.

После первой мировой войны глубокий кризис переживали и другие государства. Германия была в развалинах, и перспективы были далеко не розовыми. Австро-Венгерская империя вообще распалась. Перед Россией же разверзлась бездна. Пало самодержавие, связывавшее воедино огромную многонациональную империю. Распалась армия, была разрушена экономика; в стране не оказалось ни одного авторитетного института, который мог бы связать дезинтегрированные звенья бывшей империи; рушились политические и социальные ценности прошлого.

В такие моменты даже самые скептические умы поддаются иллюзиям: что бы ни пришло на смену старому, новое будет лучше того, что было; чем основательнее будет разрушен старый мир, тем легче будет построить новый; пусть правят рабочие и крестьяне, пусть они уничтожат прежние привилегии и богатство; Россия должна искупаться в крови, сгореть, чтобы, как Феникс, возродиться снова.

Российская империя распалась, лопнуло слабое звено — все якобы укладывалось в теоретические схемы марксизма, будто Россия хотела продемонстрировать классовый характер всех социальных противоречий. На Западе пророчества Маркса не сбывались — там национализм как бы заменил классовый детерминизм истории. Париж, колыбель революции, интересовался лишь пролитием на фронте немецкой крови, а революционное красное знамя развевалось над Петроградом. В России же патриотизм стал ветошью, там рождалась международная солидарность классов, пролетарский интернационализм. На русском фронте братались солдаты.

Западные читатели Ленина считали его доктринером, который не может оторваться от революционной сущности марксизма, давно отброшенной в Европе. Но те, кто читал Ленина в России, верили, что Ленин — современный пророк и что действительность доказывает точность его предсказаний. И когда, вернувшись в Россию, Ленин заявил, что революция увенчается победой пролетариата — это невероятное пророчествоказалось осуществимым.

* * *

История России периода революции и гражданской войны соответствовала марксистским схемам. Я вовсе не утверждаю, что большевики подчинили историю марксистской теории — для этого они были слишком немногочисленны; просто сама история могла служить иллюстрацией марксистского учения. Маркс в своей теории опирался на опыт классовой борьбы во Франции, но история России подтвердила его теорию. Большевики решили осуществить пролетарскую революцию в стране, где почти не было пролетариата — и победили. Они призвали солдат стрелять не в братьев по классу, а в своих классовых врагов — и солдаты откликнулись на призыв. На Западе таких агитаторов расстреляли бы как изменников. Большевики пошли в наступление на Зимний дворец под аккомпанемент лишь одного пушечного орудия на стоящем неподалеку крейсер, и правительство пало, так как его никто не защищал.

Подсчитывая, сколько шансов на революцию и захват власти упустили социалистические лидеры западных стран, мы невольно подозреваем, что в действительности западные социал-

демократы вообще не верили в марксизм. Для них он был инструментом проведения социальных реформ, но не революционного преобразования мира. Да и ситуация не казалась им созревшей для революции. Постоянно отсутствовали какие-то предпосылки, необходимые для ее победы. За это и обвинял их Ленин то в доктринерстве, то в ревизионизме. Но и большевики не очень-то верили в марксизм. Просто развитие событий в России укладывалось в российскую же интерпретацию марксизма. От этого познания русские революционеры пьянили. Оно придавало им смелость менять те теоретические постулаты марксизма, которые их действительности не соответствовали. За это европейские социалисты обвиняли Ленина в ревизионизме. Перечитывая сейчас полемику между ними, невозможно не удивляться, сколько энергии затратили обе стороны для доказательства верности *своей* интерпретации учения Маркса. Будто сама действительность менее важна, чем факт ее соответствия книжной теории.

Трудно определить, в какой степени большевики были наделены властью и в какой степени они себе ее присвоили. В первые послеоктябрьские дни власть как бы свалилась на них с неба. И русские революционеры не позволили эту власть у них отнять. Это было следствием веры большевиков в свои силы. Ленин не должен был считаться с западной практикой формирования правительства, он не пытался составить коалицию большинства, он не стремился делить ни с кем ни риск, ни ответственность. "Коммунистический манифест" оправдывал диктатуру пролетариата. Возможно, большевики верили, что диктатура пролетариата — первый шаг к царству свободы и отмиранию государства, хотя на деле возник культ нового государства. Поэтому они не хотели делить власть. Кроме левых эсеров, союз с которыми был непродолжителен, большевики с другими партиями не сотрудничали.

Историческая исключительность этих событий шестидесятилетней давности заключается не в приходе большевиков к власти, а в том, что им удалось удержать ее в гражданской войне, которая не знала себе равных. Были периоды, когда казалось, что советская власть терпит крах — потеряна Сибирь, отрезано Поволжье, белые наступают на Петроград, юг страны в руках Деникина, западные правительства поддерживают антибольшевистские силы. Но гражданская война более наглядно свидетель-

ствует о соотношении сил, чем стокновения регулярных армий и их генералов. В определенной степени историческую легитимность большевикам придает факт, что народ России был вооружен на протяжении нескольких лет после Октябрьской революции. Получить оружие, стрелять — мог, кто хотел — на той или противной стороне. Обычно после переворота новая власть для предотвращения неожиданностей сразу же старается установить контроль над имеющимся у населения оружием. В России этого сделать не удалось. И большевики победили в гражданской войне, потому что привлекли на свою сторону больше людей, чем белая армия, а также потому, что не восстановили против себя большинство нейтрального населения, хотя в ту пору у большевиков не было ни сил, ни институтов контроля, и судьба их зависела от того, какую позицию займет население страны.

* * *

Сейчас, в последние годы XX века, когда идеология стала все-го лишь ярким платьем, скрывающим прагматические действия власти, даже не хочется верить, что победа революции в России была в значительной степени победой социалистических и коммунистических идей. Более точными кажутся объяснения революции как из ряда вон выходящего явления, обусловленного совпадением во времени объективных и субъективных исторических факторов: разложение традиционных ценностей старой России, послевоенная слабость и нерешительность европейских держав. И все же полностью понять победу русской революции нельзя, если не учитывать, что в этом глобальном совпадении сыграли важную роль идеи социализма и коммунизма.

Политическая литература того времени — теоретические работы Ленина, Плеханова, Троцкого, Бухарина и других русских революционеров, пропагандистские брошюры первых послереволюционных лет показывают, как понимали тогда идеи социализма и коммунизма. Несмотря на искажение этих трактовок в идеологической полемике последующих лет, взгляды первых русских революционеров следует считать ленинизмом как его понимает большинство специалистов, в том числе и советских.

В принципе это теория Маркса, выведенная из состояния равновесия перенесением центра тяжести на революционное решение социальных проблем, на руководящую роль партии, на дик-

татуру пролетариата и на решающее значение опыта русской революции для других стран.

Ленинизм в повседневной практике революции позволил огромному числу представителей революционной власти — комиссарам и делегатам — принимать в сложнейших условиях того времени самостоятельные решения, подчиняясь при этом основному императиву революции. Это учение объединяло революционную активность на широких просторах России, так как его сторонники не только знали азбуку коммунизма, но и руководствовались ею в своей практике. Поэтому, несмотря на все авантюрные отклонения и ошибки невиданного по размаху революционного процесса, руководителям революции удалось удержать его в определенных учением рамках. Именно вследствие ленинского понимания революционной теории русской революции удалось избежать судьбы многих других революций — ее не разложили ни внутренние споры, ни фракционная борьба.

Намного сложнее распознать, в каком виде идеи социализма и коммунизма были усвоены народом. Вряд ли они зафиксировались в его сознании как ленинизм, о котором дискутировали большевистские вожди и теоретики. Вряд ли преимущественно крестьянское и неграмотное население России могло усвоить утонченную теорию социализма, которой придерживались социалистические партии западных стран. Среди русской массы эти идеи распространялись в крайне упрощенной форме. Как вытекает из литературы того времени, "Марксэнгельс" был каким-то двуглавым существом, а из фирмансовского "Чапаева" мы узнаем, как растерялся славный военачальник, когда ему сообщили о существовании двух Интернационалов. Когда же самой идеи стало недостаточно, ее персонифицировали в руководящей роли Ленина и других известных деятелей революции.

Идея социализма и коммунизма осуществляла свою историческую миссию не как научная теория (хотя Марксу очень хотелось верить в ее научность), а как утопия, как видение нового порядка, в которое каждый вкладывал свои собственные надежды. Теория коммунизма, как и теория о бесконечности вселенной, выходит за рамки сферы, которую можно себе представить наглядно, но в то же время идея эта поддерживает стихийное стремление к равенству, купается в темных водах социальной зависти и обещает сиюминутное перераспределение благ на равные части. Общее несчастье — полбеды.

Сформулированная Марксом идея "царства свободы" вряд ли могла привести в движение русский народ, а понимание коммунизма как сиюминутного установления справедливого порядка — смогло.

Идея государства рабочих и крестьян понятна и привлекательна, так как разрушает вековые традиции и создает иллюзию для масс, — так же, как и утопический лозунг "кто не работает, тот не ест". Этот лозунг понятен, это не головоломка вроде "теории прибавочной стоимости". Русская революция не скучилась на утопические лозунги — идеи социализма и коммунизма, как розовое облако (о котором пишет Роза Люксембург), начали парить над переживавшей тяжелейшие испытания страной. Такова уж судьба революционных учений. Сколько бы ни утверждали, что социализм и коммунизм это научная теория, которая опирается на объективные законы развития общества, в процессе революции социалистические и коммунистические идеи — всего лишь утопия. И только утопия, разукрашенная орнаментом вековых чаяний народа, излучает те магические волны, которые способны привести в движение миллионы; только утопия может заставить солдата революции, не имеющего ни малейшего представления о теории социализма и коммунизма, воскликнуть перед казнью "Да здравствует социализм, да здравствует коммунизм!"

* * *

Русские революционеры на протяжении многих лет просто не думали о том, что социализм и коммунизм должны восприниматься как идеальный общественный порядок. Насущные проблемы революции занимали их полностью, так что на размышления о социализме не оставалось времени. Борьба за власть отодвигала теоретические рассуждения на более позднее время, после окончательной победы. Так это было до начала полемики о возможности построения социализма в одной стране.

В настоящее время теоретический арсенал, который поставил боеприпасы для беспрецедентного академического спора, менее интересен, чем смысл этого спора. Революция победила под знаменами утопии, но что делать с утопией после победы? Ведь ожидают, что она воплотится в жизнь.

И тут обнаружилось, что победившие русские революционеры тоже не очень-то верили учению о социализме и коммунизме. Они вспомнили вдруг, что Маркс исходил из опыта Западной Европы, и многие обладающие теоретическими знаниями большевики склонялись к мнению, что невозможно построить социализм в одной стране, к тому же такой отсталой как Россия. Эти большевики во главе с Троцким проповедовали теорию перманентной революции и утверждали, что только после победы революции в развитых странах Запада Россия совместно с ними сможет приступить к строительству нового общества.

Позиция этих коммунистов больше соответствовала учению Маркса, чем позиция их противников.

Как строить социализм в России, Маркс не учил. Не занимался этим вопросом и Ленин. Ленинское определение коммунизма — "советская власть плюс электрификация страны" — просто наивная утопия, а кроме этого в сочинениях Ленина тоже нет ничего, что можно было бы назвать моделью советского социализма. Напротив, введение НЭПа свидетельствует о том, что и Ленин не верил в преобразование России соответственно теоретическим постулатам.

Творцом советской модели стал Сталин, подвергшийся меньше других руководителей влиянию теории социализма. Презрение Троцкого к Сталину-теоретику было оправданным, как и его замечания о невозможности для Сталина прочесть что-либо на иностранных языках. Но Сталин лучше, чем Троцкий, сознавал, что выжидание погубит русскую революцию, что если угаснет революционная активность, революция сойдет на нет. Сталин, видимо, отчетливо представлял себе разочарование поколения, проливавшего кровь за революцию, если бы Россия даже не попыталась реализовать утопию. Перечитывая сейчас "Вопросы ленинизма" — книгу, где Сталин впервые попытался выступить как теоретик марксизма — мы видим, что главное зло Сталин видел в пассивности.

Победой Сталина в полемике о социализме в одной стране окончилась история революции и началась история социализма и социалистической идеологии. Эта история изменила лицо мира, разделила его надвое и по сей день стимулирует напряженность между континентами и непрекращающиеся социальные потрясения. После разработки первого пятилетнего плана и начала кол-лективизации марксистская доктрина перестала быть теорией

революции, ее импульсом и стала идеологией конкретной модели общественного устройства, апологетом политической и социальной практики, а практика, как говорят, зеленее серой теории.

* * *

Вначале русская идеология защищала в основном не частные меры практической политики советского правительства, а законность революции вообще. Ленин предостерегал другие страны от слепого копирования российского опыта. Он защищал лишь принципы — власть партии, диктатуру пролетариата, союз рабочего класса с крестьянством и т.д. Легитимность революции Ленин защищал твердо, с настойчивостью фанатика. Это особенно ярко проявляется в книге "Государство и революция", где Ленин пытается доказать, что русская революция — законное детище марксизма и европейского рабочего движения, хотя русская революция, мне думается, может прекрасно обойтись без такой родословной, так как на ее стороне — вес исторически свершившегося факта.

Но таков уж характер идеологии. Все христианские реформистские движения утверждали, что только они верно толкуют Писание, а гражданские революции ссылались на традиции древнего мира и рационализма. Октябрьская же революция стремилась стать законным преемником коммунистической традиции Европы. Будто бремя исторической ответственности было не под силу большевикам и, чтобы облегчить его, они перекладывали его на тени предков. Кому известно, из каких глубин истории вырастает интуитивное стремление найти в прошлом фундамент современности?

Большевики были растеряны, они оказались на непроторенном пути. Поэтому они и старались увязать свою революцию с прошлым, представить ее рабочему движению Европы не как аномалию, а как результат европейских традиций, рассчитывая при этом на поддержку европейского рабочего движения. Ленин разошелся с ортодоксальными социал-демократами и ввел жесткие условия приема в III Интернационал. Значительная часть европейского рабочего движения поддержала его, так как на стороне Ленина была осозаемая действительность диктатуры пролетариата, власть была в руках партии, и казалось, что созда-

ны условия для реализации давней мечты. Ведущей силой социальных преобразований стала Россия.

Русская идеология одержала первую победу. Часть европейского рабочего движения признала ее легитимным завершением традиции, а часть – неопровергнутым фактом. Следствием этой победы было всеобщее признание новой России. Не только левые, но почти все видные интеллектуалы Европы защищали революцию и право русского народа решать свои дела самостоятельно, по-своему, независимо от Западной Европы. Ведь кроме литературы, считали они, старая Россия ничего не дала. Но дело было не только в рациональном признании исторического факта. Революция затронула те сферы сознания, которые в большей степени, чем нам хочется признать, влияют на поведение человека. Реакция была эмоциональной – революция излучала волшебное сияние, и ее восторженно приветствовали как рассвет нового дня. Ее награждали эпитетами, она перестала быть предметом спокойного анализа. Противники проклинали революцию как дело рук антихриста и разрушительных сил. Сторонники революции исступленно кричали об искуплении, о начале новой истории человечества, они декламировали Блока и Маяковского. Эта эпоха была неподходящей для трезвой оценки фактов. Только что окончилась страшная война, еще раз доказавшая интеллектуалам беспомощность разума перед лицом животного стремления убивать. На этом мрачном фоне русская революция вселяла надежду, она была единственным импульсом к историческому оптимизму. И европейские интеллектуалы, которые изголодались по надежде и жаждали избавиться от деструктивного скептицизма, окутали русскую революцию своей любовью. Это не было рассудочным отношением к общественному процессу и только. Именно идеология перенесла человеческое отношение к революции в сферу эмоций, и выражалось оно словами "любовь", "ненависть", "преданность", "измена", "прощение" и т.д.

* * *

Ряд европейских интеллектуалов связали с этой надеждой свою жизнь. Почти два поколения подчинялись упрощенной схеме, в соответствии с которой положительное отношение к русской революции стало эталоном прогрессивности. Но русская революция не довольствовалась симпатией, она требовала

страстной любви и преданности, и это ставило интеллектуалов Европы в нелегкое положение.

Русская идеология требовала, чтобы все этапы развития Советской России воспринимались с таким же восторгом, как и революция. Вокруг священного нимба революции засияли новые лучи. Вместо Ленина – Сталин, а с ним план индустриализации, пятилетки, византизм; вместо авангардного искусства – социалистический реализм, затем московские судебные процессы, война с Финляндией, захват прибалтийских государств, договор с Германией и раздел Польши, война с гитлеровской Германией, послевоенная экспансия, создание восточного блока, советская атомная бомба, подавление венгерской революции, оккупация Чехословакии и советско-китайский конфликт. Это было слишком много и для трех поколений.

Советский Союз преподносился как единственная возможность реализации вековых чаяний, как воплощение социалистических идей, как оазис прогресса в загнивающем мире, образ будущего других стран, родина всего нового и жизнеспособного – в материальном производстве, организации общества, в науке, культуре, искусстве и т.д. Несмотря на все перегибы и ложь, идеология выживала, так как она постоянно ссылалась на "объективные законы развития общества". Допускалось, правда, что некоторые черты советской действительности не соответствуют распространенным представлениям о лучшей альтернативе, но при этом все-таки признавалось, что "объективно советское общество развивается в нужном направлении".

Как и во времена революции, идеология трансформировала рациональный анализ в фанатическую веру, любовь, ненависть и надежду. Эта же идеология требовала от европейских интеллектуалов, которые приняли революцию, принять все, что было с ней связано и что последовало за ней. Ведь если русская революция – законное детище европейской социалистической традиции, то советская действительность – легитимное продолжение ее. Эта идеологическая аргументация увенчалась успехом. Глядя в прошлое, можно сказать, что левые интеллектуалы добровольно приносили жертву русской идеологии и добровольно подчищались ее императиву.

Была взята на вооружение ложь о неустойчивости интеллектуалов, придуманная Лениным, чтобы нейтрализовать возмущение русских интеллигентов жестокостями большевистской вла-

сти. Пользуясь этой ложью, русская идеология уничтожала обязательные атрибуты разума и эрудиции — скепсис,держанность, непредвзятость, терпимость, способность к анализу и т.д. В соответствии с русской идеологией преданность и послушность стали цениться выше разума. В пример интеллектуалам ставился народ, его энтузиазм и классовое сознание. На удивление всем идеологии удалось обезоружить разум. Она навязала интеллектуалам чувство неполноценности, и многие из них сознательно стремились разделить фальшивый восторг народа.

* * *

Чем дальше в прошлое уходила революция, тем труднее становилось разуму. В некоторые периоды советской истории разум европейских интеллектуалов вообще оказывался на Прокрустовом ложе. Я имею в виду не голод 1920-х годов, не нищету, которую принесла народу революция, не социальные проблемы нового общественного порядка, вроде карточной системы, роста численности беспризорных детей, бюрократии и т.п. Все это естественные трудности, и не они заставляли волноваться, тем более, что в первые послереволюционные годы Россию рассматривали как залог счастливого будущего, а не как уже осуществленный идеал. В те времена и советская идеология признавала наличие проблем, требующих времени для разрешения. По мере того как укреплялся авторитет Сталина, он начал апеллировать к советской гордости, которая уже тогда переплеталась с гордостью великороссов. На передний план стали выдвигать успехи, а о сложностях вообще перестали говорить. Русская идеология все более болезненно реагировала на критику советской действительности. Помню, какое впечатление на меня произвели книги Андре Жида. Я прочитал их в 1950-е годы, когда они уже были запрещены. Но до этого я прочитал отзывы на них — бурю упреков, ругательств, обвинений в измене в адрес Андре Жида. У меня сложилось впечатление, что он выступил с принципиальной политической критикой советской системы. К моему глубочайшему удивлению я нашел у него лишь несколько упреков по поводу монопольного характера советской пропаганды, сокрытия неблаговидных фактов, чрезмерного колLECTИвизма в воспитании детей и т.д. Совершенно благодушная критика. Но апологеты русской идеологии реагировали так, будто

Андре Жид совершил святотатство, изменил своему прошлому и к тому еще оскорбил советский народ, который так радушно и гостеприимно принял западного писателя.

Дело Жида было лишь прологом к трагедии испытания разума, как, собственно, и съезд советских писателей, когда Бухарин и Горький растоптали надежды литературного авангарда Европы.

Тяжелый шок пережили западные интеллектуалы-путчики русской революции во время московских судебных процессов. Тогда русская идеология потребовала от них самой большой жертвы — попрания разума, подавления сомнений, отказа от человечности. Перечитывая литературу того времени, нельзя не прийти в ужас от коллективного приятия насилия идеологии над разумом. Официальные советские разъяснения по поводу московских процессов даже не пытались быть убедительными, но левые интеллектуалы Европы проделывали всевозможные логические упражнения — лишь бы не смотреть правде в глаза. Какие только аргументы они ни приводили! Они были не готовы признать, что эти суды — последний акт кровавой трагедии борьбы за власть. Как могли осознать это узники идеологии, которая проповедовала строительство справедливого общества — вековой мечты человечества?

Ведь Советскую Россию осуждали их враги — буржуи, троцкисты, фашисты. По ночам их мучили кошмары, не давала спать чудовищная формулировка Августа Бебеля: "Если тебя хвалит враг, значит, ты в чем-то ошибся". И днем им приходилось, скрывая сомнения, во имя давней мечты защищать расстрелы в холодной Москве. В идеологических судорогах бились все, кто присягал прогрессу, революции и социализму. Расстрелы нельзя было объяснять разумом, и чтобы не отказываться от надежды, левые интеллектуалы отреклись от разума, ушли в темную пещеру иррациональности, откуда история видится как цепь заговоров, измен и подвохов.

* * *

То, что и в этом извращенном виде русская идеология смогла удержать в плену многих европейских интеллектуалов, объясняется победой фашизма и нацизма в некоторых странах Европы. Выбрать можно было одно из трех направлений: коммуни-

стическое, требующее полной отдачи; нацистское, в корне варварское, или англофранцузское, которое именно в эти годы будто задалось целью продемонстрировать слабость и нерешительность демократии. Не следует удивляться, что при столь скромном выборе интеллектуалы Европы не высказывали вслух своих наблюдений о несоответствии русской идеологии русской действительности, отдав Сталину предпочтение перед Гитлером.

За это русская идеология отблагодарила их дополнительной поркой разума: Советский Союз заключил договор с нацистской Германией, оккупировал западную часть Польши и объявил войну Финляндии. Разум не мог объяснить эти шаги первого государства рабочих и крестьян. Те, кто все еще считал, что Советский Союз играет роль авангарда социалистического движения, что Советский Союз реализует вековые чаяния этого движения, были в полной растерянности.

Русская идеология всячески старалась культивировать иллюзии об исторической миссии Советского Союза. Она подчеркивала, что СССР — государство рабочих и крестьян всего мира, родина угнетенных, а потому защита и поддержка Советского Союза — святая задача борьбы этих классов в других странах. На деле же Советский Союз действовал как любое иное государство, взявшее на вооружение разработанные русским самодержавием концепции стратегии, экономики и политики.

Идеология пыталась добиться невозможного — объяснить мнимые и подлинные действия Советского Союза как проявление диалектического единства. Идеология вытащила из арсенала старое оружие марксизма и попыталась толковать нацистскую агрессию как империалистическую авантюру, с которой рабочий класс Германии ничего общего не имеет.

Жертвам нацистской агрессии Советский Союз советовал не оказывать сопротивления врагу их страны, так как самое главное, чтобы Советский Союз — надежда пролетариата всех стран — остался в стороне от империалистического конфликта. К счастью, у этой идеологической конструкции не было времени разиться, так как Германия напала и на Советский Союз. Все было смыто реками пролитой народами СССР крови, но в воспоминаниях европейских коммунистов, живших тогда в московской гостинице "Люкс", до сих пор живы отчаяние и травмы, нанесенные в те годы разуму.

* * *

С тех пор левые интеллектуалы Запада не знают, как привести в соответствие идеологическую версию советской действительности и жизнь, правда о которой часто узнается с опозданием. Ведь в результате многочисленных потрясений прежде монолитный костяк русской идеологии давно уже превратился в ржавый металлом.